

Э. Ф. БЕНСОН

КОРОЛЕВА ЛЮЧИЯ

— Мэпп и Лючия. Книга 1. Часть 1 —

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ • СВЕТСКИЕ ИНТРИГИ
• БОРЬБА ЗА ПЕРВЕНСТВО

Из цикла, по которому сняты сериалы «Мэпп и Лючия»

Э. Ф. Бенсон

Королева Лючия.
Часть 1. Мэпп и Лючия.

«Автор»
2026

Бенсон Э.

Королева Лючия. Часть 1. Мэпп и Лючия. / Э. Бенсон — «Автор», 2026

Райзхолм — тихая английская деревня, где все всё друг о друге знают, а царствует в ней одна женщина — миссис Лукас, для друзей просто Лючия. Она играет Бетховена, вставляет в речь итальянские словечки, решает, что тут модно, а что нет, и не терпит, когда новая мода приходит в Райзхолм не через неё.И вот её подруга Дейзи Квонток привозит в деревню настоящего индийского гуру, а в опустевший дом по соседству собирается въехать знаменитая оперная певица Ольга Брейсли. Лючии придётся пустить в ход всё своё искусство, чтобы обе знаменитости оказались в её саду — и чтобы верный Джорджи Пиллсон не перебежал в чужой лагерь.«Королева Лючия» (1920) — первый роман серии Э. Ф. Бенсона «Мэпп и Лючия», классическая английская комедия нравов. В этой книге — первая часть романа, главы I–VII. Впервые на русском языке.

© Бенсон Э., 2026
© Автор, 2026

Содержание

От переводчика 6
Глава I 7
Примечания к главе I 15
Конец ознакомительного фрагмента. 16

Королева Лючия. Часть 1. Мэпп и Лючия.

Перевод с английского — Платон Стрельцов

Перевод выполнен по изданию: E. F. Benson, «Queen Lucia» (London: Hutchinson, 1920). Оригинал находится в общественном достоянии.

Райзхолм — тихая английская деревня, где все всё друг о друге знают, а царствует в ней одна женщина — миссис Лукас, для друзей просто Лючия. Она играет Бетховена, вставляет в речь итальянские словечки, решает, что тут модно, а что нет, и не терпит, когда новая мода приходит в Райзхолм не через неё.

И вот её подруга Дейзи Квонток привозит в деревню настоящего индийского гуру, а в опустевший дом по соседству собирается въехать знаменитая оперная певица Ольга Брейсли. Лючии придётся пустить в ход всё своё искусство, чтобы обе знаменитости оказались в её саду — и чтобы верный Джорджи Пиллсон не перебежал в чужой лагерь.

«Королева Лючия» (1920) — первый роман серии Э. Ф. Бенсона «Мэпп и Лючия», классическая английская комедия нравов. В этой книге — первая часть романа, главы I–VII. Впервые на русском языке.

От переводчика

Эдвард Фредерик Бенсон (1867–1940) написал «Королеву Лючию» в 1920 году. Это комедия нравов: вся её соль — в мелочах деревенской жизни, в снобизме, в сплетнях и в том, как серьёзно герои относятся к самим себе.

Перевод сделан современным языком, но без переделок: смысл, имена, числа и даты сохранены так, как у автора. Длинные абзацы местами разделены.

Лючия и её круг постоянно вставляют в речь итальянские, латинские и другие иностранные слова — это часть их позы. Такие слова оставлены в оригинале курсивом, а сразу за ними в скобках дан перевод. Детский лепет, на который герои переходят в минуты нежности, передан русским сюсюканьем. Райзхолмские степени торжественности приёма — Hightum, Tightum и Scrub — переведены как «Парадный», «Нарядный» и «Затрапез».

Сноски даны только к именам людей и к цитатам; они собраны в конце каждой главы.

Роман написан больше ста лет назад, и в нём встречаются слова и взгляды своего времени — об иностранцах, об Индии, о медицине. В переводе они сохранены как часть памятника эпохи и часто как часть сатиры: автор смеётся над своими героями, а не вместе с ними.

Платон Стрельцов

Глава I

Хотя июльское утро выдалось жарким, миссис Лукас предпочла пройти полмили от станции до дома на своих двоих, а горничную с багажом отправила вперёд в наёмной коляске, которую муж заказал её встретить. После четырёх часов в поезде короткая прогулка была приятна. Но был и другой мотив: она прятала его от собственного сознания, однако он исподволь направлял её поступки. Все её друзья в Райзхолме, разумеется, знали, что сегодня она приезжает поездом в 12:26, а в этот час деревенская улица наверняка будет полна ими. Они увидят, как коляска с багажом остановится у дверей «Херста», и из неё не выйдет никто, кроме горничной.

Вот это будет им интересно. Это вызовет один из тех маленьких приятных трепетов и поводов для догадок, которыми Райзхолм питался изо дня в день, как хлебом насущным. Все станут гадать, что с ней случилось. Может быть, она заболела в последнюю минуту перед отъездом и с обычной своей стойкостью и заботой о чужих чувствах послала горничную вперёд, чтобы та заверила мужа, что тревожиться не о чем?

Такое, конечно, предположит миссис Квонток. Её ум был теперь посвящён изучению «Христианской науки» и твёрдой решимости отрицать боль, болезни и смерть — но лишь применительно к себе. О друзьях же она всегда думала самое мрачное и по малейшему поводу воображала, что они, бедные слепцы, страдают от «ложных притязаний». Более того, если коляска уже подъехала к «Херсту» и Дейзи Квонток это видела или ей уже донесли, то почти наверняка эта дама уже принялась лечить миссис Лукас заочно.

Джорджи Пиллсон, скорее всего, тоже заметил, как коляска разочаровывающе приехала без неё, но он выдвинет догадку куда правдоподобнее, хоть и ошибочную. Он наверняка решит, что она отправила горничную с багажом на вокзал занять ей место в поезде, а сама, забыв о времени, провела последние полчаса перед итальянскими шедеврами в Национальной галерее или перед греческими бронзами в Британском музее. Только не в Королевской академии: культура Райзхолма во главе с ней самой отвергала как ничего не стоящее всё искусство после смерти сэра Джошуа Рейнольдса[1], да и немалую часть того, что было до неё. А вот муж, с его твёрдой хваткой на очевидное, ещё до того как горничная всё подтвердит, разочаровывающе легко догадается, что она просто пошла со станции пешком.

Итак, мотив, по которому она отправила коляску вперёд, хоть и родился в подсознании, вскоре проник в сознание. Все эти догадки о том, что подумают другие, увидев коляску без неё, шли от театральной жилки, которая занимала так много места в её натуре. Именно эта жилка заставляла её всегда, словно по божественному праву, брать главную роль в любительских спектаклях. Ими образованная публика Райзхолма развлекала, а вернее, усердно заполняла те минуты, что удавалось выкроить от занятий искусством и литературой и от светских обязанностей. Впрочем, обычно она не ограничивалась главной ролью: если получалось, играла заодно и вторую, а кроме того, была режиссёром, автором переделки, а то и художником декораций.

Что бы она ни делала, а делала она поистине невероятно много, она делала это со всей силой своего театрального чутья. Делала с такой серьёзностью, что ей было не до того, чтобы оглядываться на галёрку: она просто любовалась собой и собственной кипучей деятельностью. Когда она играла на рояле, а играла она часто (отводя на упражнения час в день), ей ни капли не было дела до того, что подумает прохожий о пассажах, льющихся из её открытого окна. Она была просто Эммелиной Лукас, погружённой в великого Баха, изящного Скарлетти[2] или благородного Бетховена.

Последний, пожалуй, был её любимым композитором. Много было вечеров, когда, погасив свет, в мягком сиянии луны из незашторенных окон, она сидела — профиль как камея (или, пожалуй, как голова на почтовой марке) на фоне тёмных дубовых стен музыкальной ком-

наты — и завораживала себя и слушателей, если были гости к ужину, изысканной печалью первой части «Лунной сонаты». Как ни преклонялась она перед Мастером, чей портрет висел над её роялем «Стейнвей», она никак не могла поверить, что две следующие части так же возвышенны, как первая. К тому же они «шли» гораздо быстрее.

Правда, сегодня в поезде, обдумывая новые дела дома, она всерьёз решила освоить и их, чтобы одолевать их сложности сносно. А пока на этих лунных сеансах она неизменно останавливалась в конце первой части и говорила, что две другие больше похожи на утро и день. Потом со вздохом тихо закрывала крышку рояля, порой смахивала с глаз непритворную слезинку, включала электрический свет, брала со стола книгу, где нож для бумаги отмечал, докуда она дочитала, и говорила:

— Джорджи, обещайте прочесть эту биографию Антонино Капорелли[3], как только я её закончу. Я никогда раньше не понимала, как возникла венецианская школа. Читаю — и чувствую запах солёного прилива, наползающего на лагуну, и вижу кампанилу милого Торчелло.

И Джорджи откладывал пяльцы, на которых вышивал копию итальянской ризы, и тоже вздыхал:

— Вы просто чудо! Как вы всё успеваете?

Она отвечала изречением, которое назавтра обходило весь Райзхолм:

— Дорогой мой, время на всё находится как раз у занятых людей.

Можно подумать, что даже тех занятий, о которых здесь говорилось, хватило бы, чтобы у человека ни на что больше не осталось времени. Но с миссис Лукас всё было совсем не так. Как художник Рубенс[4] развлекался тем, что был послом при Сент-Джеймсском дворе, а для большинства занятых людей это уже целая карьера, так и миссис Лукас в перерывах между служением Искусству ради Искусства развлекалась тем, что была не просто послом, а монархом.

По грубым материалистическим меркам географических карт Райзхолм, может быть, и входил в королевство Великобритания. Но в более подлинном, внутреннем смысле он был отдельным королевством, и его королевой, несомненно, была миссис Лукас. Она правила им с уверенным самодержавием, на которое приятно было смотреть в те времена, когда рушились троны, а императорские короны неслись, как сухие листья под осенним ветром. Правительнице Райзхолма, более счастливой, чем правитель России, не приходилось бояться, что перст большевизма начертает на стене роковые слова[5]: во всём этом чане, где так приятно бурлила культура, не было ни единого пузырька революционного брожения. Здесь не было ни бедности, ни недовольства, ни глухих угроз переворота. Миссис Лукас, деятельная и безмятежная, трудилась больше любого из подданных и самодержавно управляла номинальной демократией.

Что-то от сознания своей власти было у неё в мыслях, когда она миновала последний раскалённый поворот дороги и увидела деревенскую улицу, которая и составляла её королевство. Улица и правда принадлежала ей, как найденный клад принадлежит Короне. Ведь это она первой начала превращать эту глухую елизаветинскую деревню в нынешний дворец культуры, а всего десять лет назад здесь, в домиках из серого камня или из кирпича с деревянным каркасом, по-воловьи тупо и беспросветно жили земледельцы.

Раньше, пока муж наживал в адвокатуре состояние, достаточно солидное по размеру и вполне почтенное по происхождению, она лишь держала маленькую тусклую лампу культуры на Онслоу-Гарденс. Но и она, и он мечтали, когда вложения обеспечат материальные нужды, нежиться и хлопотать в собственных художественных владениях. И вот, когда нужные тысячи фунтов лежали в надёжных бумагах, она легко уговорила его купить три таких домика, стоявших вместе одним низким двухэтажным блоком.

Затем, разумно убрав перегородки, она с помощью отзывчивого архитектора превратила их в очень удобное жилище. Позже к ним пристроили новое крыло под прямым углом позади. Оно было, пожалуй, даже чуть более непреклонно елизаветинским, чем ствол, к которому его

привили. Там помещалась знаменитая курительная гостиная — с тростником на полу, с поставцом, уставленным оловянными кружками, и со свинцовыми решётчатыми окнами из стекла такого старинного, что смотреть сквозь него было практически невозможно. Там был огромный открытый камин в обрамлении дубовых балок, со скамьёй по обе стороны очага прямо внутри дымохода, а над серединой огня висел настоящий вертел.

Во всём остальном доме ради удобства она разрешила провести электричество, но здесь такой уступки не было: в настенных держателях висели тусклые железные светильники, так что читать могли только обладатели самого острого зрения. Да и им чтение давалось трудно, потому что на подставке для книг лежали лишь несколько томов, набранных корявым готическим шрифтом и изданных не позже начала XVII века. Чтобы чувствовать себя там легко, нужно было пребывать в исступлённо елизаветинском расположении духа. Но миссис Лукас нередко проводила в курительной гостиной редкие минуты досуга: играла на вирджинеле у окна или коптилась в дыму камина, со слезящимися глазами разбирая эльзевировского Горация[6]. Издание было, правда, позже, чем дозволяло правило, зато куплено несомненно по выгодной цене.

Дом стоял в том конце деревни, что был ближе к станции, и потому, когда перед ней открылась панорама её королевства, ей оставалось сделать лишь несколько шагов. Тисовая изгородь, купленная целиком на соседней ферме и пересаженная с огромными комьями земли и возмущёнными улитками у корней, отделяла небольшой прямоугольный сад от дороги. Через маленькие газоны падали чудовищные тени фигур, в которые она была подстрижена.

Здесь, как и подобало, не росло ни одного цветка, кроме тех, что упоминаются в пьесах Шекспира. Сад так и назывался — Шекспировский, а клумба под окнами столовой звалась бордюром Офелии: на ней росли только те цветы, что эта обезумевшая девушка раздавала друзьям[7], когда ей следовало бы находиться в сумасшедшем доме. Миссис Лукас часто думала, как удачно, что во времена Елизаветы таких заведений не знали или что Шекспир, если и знал, из художественных соображений их не замечал. Главным украшением, естественно, были анютины глазки, хотя попадались и пышные кусты руты. Когда рута цвела, миссис Лукас всегда носила маленький букетик для вдохновения мыслей и находила его удивительно действенным.

Вокруг солнечных часов, стоявших посреди одного из квадратных газонов, между которыми к парадной двери вела дорожка из битой плитки, шёл круглый бордюр. Сейчас, в июле, он печально пустовал: там росли только весенние цветы, перечисленные Утратой[8]. Зато день, когда бордюр Утраты выпускал первый цветок, каждый год был восхитительным праздником. Весть о нём разлеталась по королевству миссис Лукас как пожар, подданные очень радовались и приходили поклониться фиалке, нарциссу или что там распустилось.

Три домика, ловко превращённые в «Херст», образовали очаровательно неровный и живописный фасад. Два были из местного серого камня, а средний, к двери которого вела дорожка, — из кирпича с деревянным каркасом. Решётчатые окна с каменными средниками почти не пропускали свет в комнаты, а кое-где добавили новые окна. Внимательный глаз мог их распознать: они выглядели заметно старше остальных.

С парадной дверью вышло так же: казалось, её сделали за много лет до дома. Дело в том, что дверь, которую миссис Лукас здесь застала, так обветшала, что не могла сдержать ни ветра, ни сырости, ни нежеланных гостей. Поэтому она заказала дверь ещё старше, из дубовых досок разобранного амбара, и велела обить её крупными железными гвоздями старинного образца, которые выковал деревенский кузнец. Часть гвоздей он расположил так, будто они складывались в надпись «A.D. 1603».

Над дверью висела трактирная вывеска, а в рамку, где когда-то качался её щит, вставили фонарь. В нём, надёжно скрытая от глаз патинированными стёклами, пряталась электрическая лампочка. Это была одна из неизбежных уступок современным удобствам: никакая мас-

ляная лампа не пробилась бы сквозь эти по-настоящему непрозрачные стёкла и не осветила бы дорожку к калитке. Лучше уж электрический свет, чем гости, падающие в бордюр Утраты.

Рядом с этой дверью-крепостью висела тяжёлая железная ручка звонка в виде русалки. Когда миссис Лукас её только поставила, это была ручка в том смысле, что очень сильный мужчина, взявшись обеими руками и крепко упёршись ногами, мог её сдвинуть. Тогда огромный бронзовый колокол в коридоре для прислуги начинал раскачиваться и наконец подавал голос (если атлет продолжал тянуть) с такими гулкими раскатами, что с потолка хлопьями сыпалась побелка.

Поэтому она сделала ещё одну уступку слабости нынешнего поколения и неудобству того, что побелка падает в салаты и пудинги по пути в столовую. Теперь сзади на хвосте русалки была маленькая, но действенная костяная кнопка, чёрная и почти незаметная, и ручка звонка превратилась в электрическую кнопку. Так гости могли возвестить о своём прибытии без отчаянных усилий, русалка ничуть не утратила своей елизаветинской девственности, а дух Шекспира, бродящий по своему саду, не заметил бы никакого анахронизма. Он и не мог бы заметить: замечать было нечего.

Хотя родители нарекли миссис Лукас Эммелиной, неудивительно, что среди самых близких подданных её всегда звали Лючией — с итальянским произношением, конечно: Ла Лючия, жена Лукаса. И именно *Lucia mia*(моя Лючия) назвал её муж, встретив у дверей «Херста».

Он высматривал её из окна гостиной, раздумывая над одним из своих маленьких стихотворений в прозе, которые были таким усладительным вкладом в культуру Райзхолма. Ведь хотя, как уже намекалось, в практической жизни он твёрдо держался очевидного, в его душе были окна, смотревшие на смутные и эфирные дали, далеко не очевидные, а лишь едва постижимые. По форме эти оды были написаны свободными ритмами Уолта Уитмена[9], но гладкой мягкостью и содержанием ничуть не походили на творения этого варварского барда, чьи сочинения в Райзхолме были совершенно неизвестны.

Уже вышли два сборника этих стихотворений в прозе — не в каком-нибудь жёстком деловом лондонском издательстве, конечно, а в типографии «Под вывеской Нарцисса» на деревенском лугу, где шрифт набирали вручную и печатали очень мало, зато только самое лучшее. Типографию открыли совсем недавно на деньги мистера Лукаса, но она уже выпустила переиздание сонетов Шекспира и его собственные стихи.

Их печатали тупым шрифтом на толстой желтоватой бумаге с краями такими рваными и неровными, будто их разрезал пальцем нетерпеливый читатель, и переплетали в пергамент. Названия этих двух тоненьких цветков поэзии, «Обломки» и «Выброшенное за борт», были оттиснуты готическим шрифтом, а обложки украшали ещё и выпуклая печать и старинные на вид тесёмки. Так что, закончив на время с «Обломками» мистера Лукаса, можно было завязать всё двумя бантиками и развязать «Выброшенное за борт».

Сегодня стихотворение в прозе «Одиночество» продвигалось не очень хорошо, и Филип Лукас обрадовался щелчку садовой калитки: одиночеству пока пришёл конец. Подняв глаза, он увидел фигуру жены, зыбко колыхавшуюся сквозь кручёное, сучковатое стекло окна гостиной. Это стекло так долго собирали, но теперь оно полностью заменило простое, заурядное, ничего не преломлявшее стекло, что стояло здесь раньше. Он вскочил с проворством, удивительным для столь плотного и солидного человека, и распахнул обитую гвоздями дверь прежде, чем Лючия прошла дорожку из битой плитки: она задержалась на печальную минутку у пустого бордюра Утраты.

— *Lucia mia! Ben arrivata*! (Моя Лючия! С приездом!) — воскликнул он. — Так ты пешком со станции?

— *Si, Peppino, mio caro*(Да, Пеппино, мой дорогой), — ответила она. — *Sta bene*? (Всё хорошо?)

Он поцеловал её и снова перешёл на язык Шекспира: их итальянский, хоть и твёрдый и безупречный в своих пределах, далеко не простирался и для разговора не годился, разве что поздороваться или узнать, который час. Но говорить по-итальянски было интересно, пусть даже недолго.

— *Molto bene*(Очень хорошо), — сказал он. — И как чудесно, что ты снова дома. А как Лондон? — спросил он таким тоном, каким мог бы справиться о здоровье бедного родственника, у которого мало шансов поправиться.

Она грустно улыбнулась.

— Ужасно занят пустяками, — сказала она. — Все эти две недели у меня почти не было минуты для себя. Обеды, ужины, приёмы всех сортов; я и на половину собраний, куда меня звали, не могла попасть. Милый добрый Южный Кенсингтон! И Челси тоже!

— *Carissima*(Дорогая), когда Лондону удаётся тебя заполучить, неудивительно, что он старается взять от тебя всё, — сказал он. — Не вини за это Лондон.

— Нет, милый, не виню. Все были страшно добры и гостеприимны, все старались. Если кого и винить, то себя. Но, по-моему, здешняя жизнь в Райзхолме с её законченностью и изысканностью портит человека для других мест. Лондон как узловая станция: своей настоящей жизни у него нет. Ни тонкости, ни умения ценить оттенки. Индивидуальности там просто не существует: все тараторят разом, тараторят и жуют — ну не вредная ли я? Если концерт в частном доме — ты знаешь, что я думаю о музыке и о том, что её вообще невозможно слушать, если тебя втиснули в середину ряда, — даже тогда, едва он кончится, тебя тут же утаскивают ужинать или кому-то нужно перемолвиться словечком. Всегда толпа, всегда еда, побыть одной нельзя, а ведь только в одиночестве, как говорит Гёте, расцветают наши восприятия[10]. В Лондоне никому некогда слушать: все думают о том, кто пришёл и кто не пришёл, и что будет дальше. Изысканного настоящего, как ты сказал в одном из своих стихотворений, там нет — есть только лихорадочное будущее.

— Восхитительная фраза! Я бы украл эту жемчужину для своих бедных стихов, если бы ты нашла её раньше.

Она слишком привыкла к этому фимиаму и вдыхала его, не замечая, а сама продолжала своё грозное обвинение.

— Я не упрекаю Лондон за то, что он так занят, — сказала она с полным беспристрастием, — ведь если бы занятость была преступлением, мало кто из нас здесь избежал бы виселицы. Но возьми мою жизнь здесь или твою, если на то пошло. Ну, пусть мою. Часто я бываю одна от завтрака до обеда, но за эти часы успеваю больше стоящего, чем Лондон за целые сутки. У меня есть час на музыку — и я не озираюсь, гадая, кто мои соседи, а учусь, занимаюсь, впитываю божественную мелодию. Потом мне нужно написать письма, а ты знаешь, что это значит, и ещё остаётся час на чтение. Так что, когда ты придёшь сказать, что обед готов, окажется, что я бродила по венецианским церквям или сидела в той тёмной комнатке в Веймаре — или это было в Лейпциге? А как бы прошли те же часы в Лондоне? Сидела бы, может быть, полчаса в парке, а милейшая Агги, замирая от волнения, показывала бы мне женщину, которая прошла через бракоразводный суд, или банкрота с графской короной. Потом она потащила бы меня на какой-нибудь кошмарный вернисаж, полный всё тех же людей, которые глазеют друг на друга и тараторят, или смотреть картины, от которых бедняжка я ахаю и содрогаюсь. Нет, я так благодарна, что снова в моём милом Райзхолме. Здесь я могу работать и думать.

Она оглядела обшитую панелями прихожую, и тёплое удовольствие от возвращения домой совершенно затмило простой телесный жар после прогулки со станции. Куда бы ни упал её взгляд — взгляд острых тёмных глаз, похожих на пуговицы, обтянутые блестящей клеёнкой, — ничто не резало глаз, как резало так многое в Лондоне. На подоконнике блестели медные кувшины, на чёрном столе посередине стояла чаша с ароматной смесью сухих лепестков, у открытого камина — дубовая скамья, на натёртом полу — пара персидских ковриков.

Была у комнаты и своя причудливость, о которой она говорила в своём памятном докладе перед Литературным обществом Райзхолма под названием «Юмор в мебели»: медный бидон для молока служил подставкой для тростей и зонтов. Не менее причудливы были блюдо с весьма правдоподобными каменными фруктами рядом с чашей лепестков и мохнатый японский паук, раскинувшийся в шёлковой паутине над окном.

Паук был сделан с таким устрашающим правдоподобием, что новая горничная Лючии однажды рано утром бросила работу и побежала звать садовника, чтобы тот его убил. Блюдо с каменными фруктами имело схожий успех. Однажды Лючия сказала Джорджи Пиллсону: «Ах, садовник прислал ранних яблок и груш, возьмите одну домой». Только по весу груши (он проворно выбрал самую большую) Джорджи понял, что это шутка и фрукты ненастоящие.

Зато потом он отомстил. Улучив момент, он подложил настоящую грушу к каменным, а когда снова проходил здесь с Лючией, взял её, оскалился и со всей силы впился в неё зубами. На мгновение ей чуть не стало дурно при мысли, что его зубы разлетятся вдребезги…

Эти юмористические штрихи время от времени меняли. Паука, например, могли снять и повесить вместо него фарфоровую канарейку в клетке работы Чиппендейла[11]. И прихожую для этих причуд выбрали нарочно: гости, снимая плащи, находили чему улыбнуться и входили в гостиную с готовой темой на устах — чем-то лёгким, чем-то забавным об увиденном. Гонг, бывало, тоже заменяли набором колокольчиков, которые когда-то украшали хомут передней лошади в упряжке возчика где-то во Фландрии. Словом, когда Лючия была дома, новая маленькая причуда нередко держалась много дней подряд. Она даже обнадёжила Литературное общество, что когда-нибудь, когда будет не так занята, набросает материал для продолжения своего доклада или напишет другой, на тему пошире: «Гамбиты беседы, подсказанные мебелью».

На столе миссис Лукас ждала стопка писем: вчерашнюю почту ей не пересылали, чтобы та с ней не разминулась, ведь лондонские почтальоны, вероятно, очень небрежны и ненадёжны. Увидев, сколько корреспонденции, она тихо вскрикнула от огорчения.

— Но я буду очень непослушной, — сказала она, — и не взгляну ни на одно до обеда. Убери их, *caro*(дорогой), и пообещай запереть до тех пор и не давать мне, как бы я ни просила. Потом я снова сяду в седло, в такое милое седло, и возьмусь за них. А пока погуляю в саду до звонка. Что там говорит Ницше о том, что время от времени нужно *mediterranizer*(осредиземноморить) себя?[12] А мне нужно «орайзхолмить» себя.

Пеппино вспомнил эту цитату: она попалась в рецензии на какое-то сочинение этого знаменитого автора, где её видела и Лючия. С помощью силы контраста он вернулся к своему стихотворению «Одиночество», а жена через курительную гостиную вышла в сад, чтобы снова пропитаться атмосферой культуры.

В саду за домом не было попыток устроить шекспировский участок: как она совершенно справедливо заметила, Шекспир, так любивший цветы, пожелал бы, чтобы она наслаждалась всеми мыслимыми садовыми сокровищами. Зато мебель играла в саду заметную роль: статуи, солнечные часы и каменные скамьи были расставлены почти слишком щедрой рукой. Обильны были и девизы. Солнечные часы напоминали: *Tempus fugit*(Время бежит)[13], а заманчивое местечко для отдыха несколько сбивчиво предлагало: «Присядь-ка ненадолго». Но зато на спинке деревенской скамьи в аллее из переплетённых ракитников было вырезано:

Я много странствовал по царствам золотым[14], —

так что, размышляя о Китсе, можно было присесть ненадолго с чистой совестью. Знакомых и вдохновляющих цитат было так много, что один из её подданных однажды сказал: прогулка по саду Лючии — это не только любование её прекрасными цветами, но и полчаса в обществе лучших авторов.

Голубятня, разумеется, тоже была. Но кошки всегда убивали голубей, и миссис Лукас расставила вокруг осквернённого жилища несколько голубей из копенгагенского фарфора: кошкам они были не по зубам и вдобавок продолжали мысль о юморе в мебели. Вершины удачи

юмор достиг, когда Пеппино спрятал в кусте механического соловья, который, если потянуть за верёвочку, очень правдоподобно пел «джаг-джаг»[15]. Джорджи ещё не видел копенгагенских голубей — или, будучи близоруким, решил, что они настоящие. И тут, о, тут Пеппино потянул за верёвочку, и Джорджи долго слушал, заворожённый, их мелодичное воркование. Так ему досталось за его «ловушку» с настоящей грушей среди каменных. Ведь несмотря на разреженную атмосферу культуры, Райзхолм умел *desipere in loco*(подурачиться к месту)[16], и его напряжённую культуру часто освежали такие лёгкие изящные штрихи.

Миссис Лукас быстро и решительно расхаживала по дорожкам в ожидании звонка к обеду: живость ума передавалась телу, и движения её были стремительны. По обе стороны лба лежали жёсткие аккуратные волны чёрных волос, скрывавшие кончики ушей. Лондонскую шляпку она сняла и держала красный ситцевый зонтик, как у итальянской крестьянки, который бросал розовый отсвет на овал её худого лица с бесцветной кожей.

Свои сорок лет она несла на редкость легко, и если бы не опущенные уголки рта, её можно было бы принять за куда более молодую женщину. В остальном лицо было без морщин и не носило следов бурной жизни чувств, которая и старит, и смягчает. Мягкого в ней, во всяком случае, не было ничего, признаков возраста тоже почти не было, и можно было не без оснований предположить, что и через двадцать лет она будет выглядеть ненамного старше.

Ведь чувства, которым она была подвержена, были бесплодными и нестареющими чувствами искусства; желания, которые её одолевали, касались не привязанностей, а честолюбия. Династии у неё не было, она была бездетна, и потому её честолюбие сводилось к прочности и незыблемости собственного трона королевы Райзхолма. От жизни она в самом деле не просила ничего, кроме того, чтобы продолжался урожай, который она так обильно собирала последние десять лет. Пока она направляла жизнь Райзхолма, вела его культуру и развлечения, была неоспоримым источником всех его вдохновений и время от времени освежала в памяти полное ничтожество Лондона, больше ей ничего не было нужно.

Но ради этого она отдавала весь свой покой, досуг и доход. Будучи практически неутомимой, она почти не страдала от потери покоя и досуга, а будучи в чрезвычайно благополучных обстоятельствах, могла не экономить на гостеприимстве. Она вполне могла рассчитывать на неизменную деятельную зрелость, пока вокруг увядают поколения молодёжи, и ни одна звезда, восходящая где-то вдали, ещё не грозила затмить её несравненное сияние.

Хотя по сути она была самодержицей, подданным разрешалось и даже поощрялось развивать свой ум собственными путями — при условии, что эти пути сходились на узловой станции, где начальником станции была она. Что же до религии, то коротко можно сказать: в Бога она верила примерно так же, как в Австралию, потому что в существовании того и другого нисколько не сомневалась. И по воскресеньям ходила в церковь примерно с тем же чувством, с каким разглядывала бы кенгуру в зоопарке: кенгуру ведь из Австралии.

Дальний конец сада отделяла от луга низкая стена. За ней тёк ручей, впадавший в Эйвон, и ей часто казалось чудесным, что вода, журчащая мимо, скоро (если её не выпьет корова) будет тихо струиться мимо церкви в Стратфорде, где лежит Шекспир. Пеппино написал об этом очень трогательное стихотворение в прозе: она по-королевски подарила ему идею и подсказала прекрасное сравнение между земной росой, что освежает травы и поднимается в огонь Солнца, и Мыслью, духовной росой, что освежает ум, а затем, довольно туманно, поднимается во Всеобъемлющую Душу Мира.

В этот миг взгляд Лючии привлекло видение на дороге, тянувшейся по ту сторону счастливого ручья, впадавшего в Эйвон. Не узнать коренастую фигуру миссис Квонток с её короткими шажками и жестикуляцией было невозможно. Но с какой стати эта последовательница «Христианской науки» шла рядом с задрапированным мужчиной в тюрбане, с тропическим цветом лица и чёрной бородой? Его шафраново-жёлтое одеяние с ярко-зелёным поясом было подоткнуто для удобства ходьбы, и если только на нём не было чулок шоколадного цвета, мис-

сис Лукас видела человеческие ноги того же оттенка. В следующий миг этот спорный вопрос разрешился: она заметила короткие розовые носки в красных туфлях.

Не успела она присмотреться, как миссис Квонток её увидела (благодаря «Христианской науке» к ней вернулась острота зрения юности), помахала рукой, послала воздушный поцелуй и, видимо, обратила на неё внимание спутника: в следующий миг он уже кланялся ей с какой-то величественной восточной церемонностью. Пока оставалось только отвечать на эти приветствия. Не могла же она крикнуть миссис Квонток в сторонку: «Кто этот индиец?» Ведь если бы миссис Квонток услышала, индиец услышал бы тоже.

Но как только смогла, она повернула обратно к дому, а скрывшись от дороги за кустами сирени, пошла быстрее обычного, чтобы как можно скорее узнать у Пеппино, кто бы мог быть этот новый её подданный. Она знала, что в Лондоне сейчас есть несколько индийских принцев. Может быть, это один из них, и тогда нужно будет без промедления почитать в энциклопедии о Бенаресе или Дели.

Примечания к главе I

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.